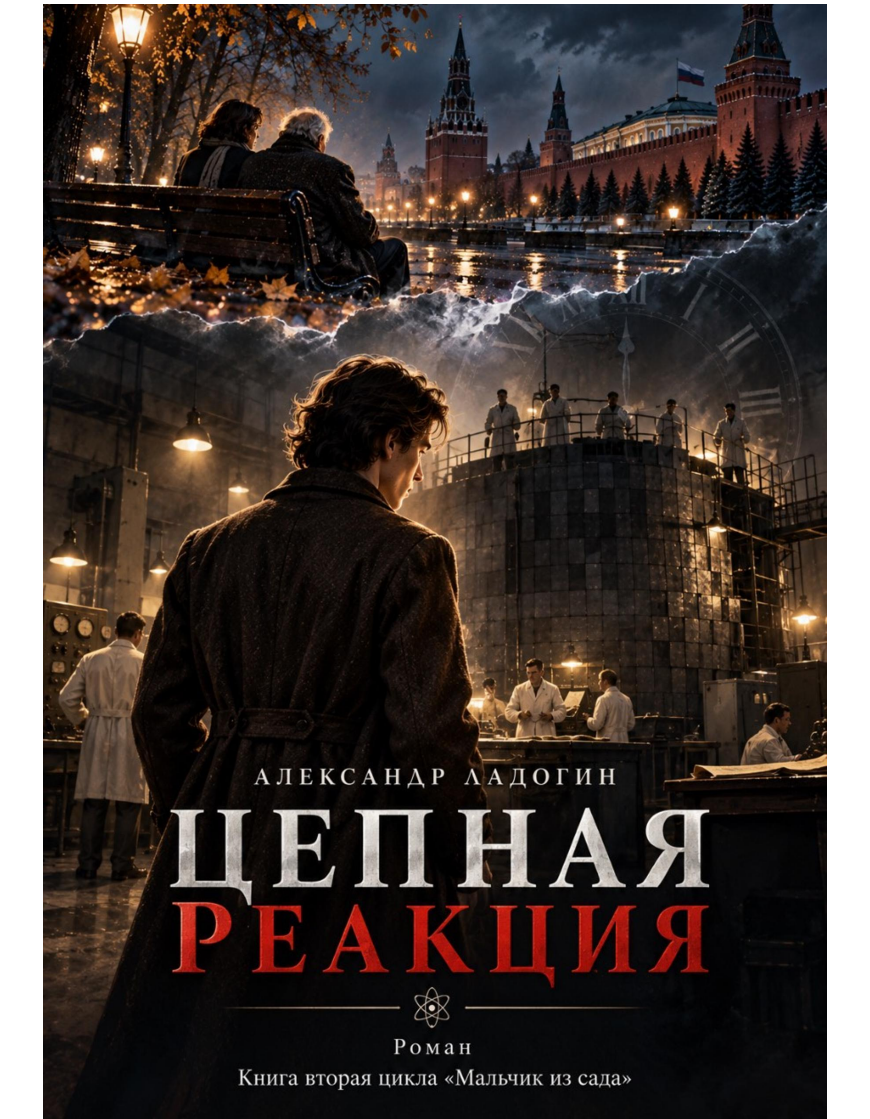




АЛЕКСАНДР ЛАДОГИН

# ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ



Роман

Книга вторая цикла «Мальчик из сада»

# Александр Ладогин

## Цепная реакция

*<https://litres.ru/74629558>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

Москва, 2026 год. Вера Лаврова читает его дневники, которым восемьдесят лет. Каждое утро в них появляются страницы, которых вчера не было. А на руке столетнего старика, вернувшегося из прошлого, проступают шрамы, которых вчера тоже не было.

Потом приходит сообщение с незнакомого номера. Эти тетради читает кто-то ещё. Кто-то ещё знает будущее. И играет против.

Берлин, Потсдам, бетонная яма под Москвой, где вот-вот пойдёт первая в Европе цепная реакция. Одно слово не тому человеку, и дальше всё идёт само. Остановить нельзя. Можно только успеть.

Вторая книга цикла «Мальчик из сада».

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Глава                             | 4  |
| От автора                         | 5  |
| Глава первая. Весна               | 7  |
| Глава вторая. Немыслимое          | 33 |
| Глава третья. Карлсхорст          | 58 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 64 |

# **Александр Ладогин**

## **Цепная реакция**

### **Глава**

*Мальчик думает, что удерживает. А он толкает.*

## От автора

Эта книга продолжает историю, начатую в романе «Пропал без вести». Кто читал первый том, помнит, чем он кончился. Осенью сорок четвёртого года студент из две тысячи двадцать шестого остался в прошлом, стал Андреем Коржевным и уехал в Новосибирск. Его прапрадед ушёл за линию фронта, чтобы больше никогда не вернуться под своим именем. А преподавательница, которая пришла за студентом, вернулась домой одна, с письмом для его матери.

Война в этой книге кончается почти без героя. Победа приходит в цех сто семьдесят девятого завода голосом из репродуктора, так же, как она пришла к миллионам людей. А дальше начинается то, о чём в учебниках пишут меньше и суше. Лето сорок пятого, когда вчерашние союзники уже считали дивизии друг против друга. Август, когда над двумя японскими городами взошло второе солнце. Осень, когда в Москве создали комитет, от работы которого зависело, останутся ли советские города на чужих картах просто кружками на бумаге. И декабрь сорок шестого, когда в бетонной яме у деревни Щукино впервые в Европе пошла цепная реакция.

Всё, что касается атомного проекта, плана «Немыслимое», Потсдамской конференции, американских планов атомных ударов, дела шифровальщика из Оттавы и пуска реактора Ф-1, опирается на опубликованные источники. Даты,

места, должности и слова, сказанные публично, я старался не трогать. Разговоры за закрытыми дверями, мысли людей, которые никогда их не записывали, встречи, о которых в архивах нет ни строчки, придуманы. Там, где источники молчат, молчание и было для меня источником. Главный герой, его семья, офицеры, которые стали ему близки, и многие второстепенные лица вымышлены.

Меня занимал вопрос, который в первом томе только начинал звучать. Что происходит с человеком, который знает будущее, когда оказывается, что будущее знает не только он? Что значит удерживать историю и что значит её толкать? Где кончается долг перед семьёй и начинается долг перед страной? И можно ли остаться собой, когда даже твой личный дневник становится оружием?

Название книги читается двояко. В физике цепной реакцией называют процесс, который, однажды начавшись, поддерживает себя сам. Одно ядро будит другое, другое будит десять, десять будят сто. Так бывает и с поступками. Одно слово, сказанное не тому человеку, одно молчание не в ту минуту, и дальше всё идёт само. Остановить нельзя. Можно только успеть.

# Глава первая. Весна



## I

Вера Андреевна вернулась к себе в начале четвёртого утра.

Как доехала, она не помнила. Помнила только, что таксист всю дорогу слушал радио, где двое мужчин лениво спорили о футболе, а она держала портфель на коленях обеими рука-

ми, как держат спящего ребёнка. Старик остался на Ломоносовском. Наталья Сергеевна постелила ему на своей кровати, а сама села рядом на табурет и, похоже, не собиралась вставать до утра. Когда Вера уходила, они уже не разговаривали. Мать держала сына за руку, и он спал, приоткрыв рот, как спят очень старые люди и совсем маленькие дети.

На кухне она не стала включать верхний свет. Зажгла лампу над плитой, поставила портфель на стол и подошла к окну. Двор был пустой и мокрый. Под фонарём блестели крыши машин, и одна из них, тёмная, стояла с работающим мотором: из выхлопной трубы шёл белый пар. Вера смотрела на этот пар минуту, потом другую. Машина не уезжала. Потом погасли фары, а пар остался. Она задёрнула штору и сказала себе, что у соседей тоже бывают поздние гости. Сказала вслух, чтобы было слышнее.

Портфель открывался туго. Медные застёжки за долгие годы почернели и не хотели поддаваться, и, когда она наконец их отжала, изнутри пахнуло старой бумагой, нафталином и ещё чем-то сухим и горьковатым, похожим на запах отцовского книжного шкафа. Тетради лежали плотно, корешками вверх, перевязанные бечёвкой в несколько пачек. На каждой пачке был бумажный ярлычок, надписанный карандашом: «1944–1953», «1954–1963» и дальше, по десять лет.

Она могла бы начать с любой. Вместо этого сделала то, что делала всю жизнь с любым архивом: развязала бечёвку, разложила тетради на полу в гостиной по годам и только по-

том села рядом.

Тетради легли длинными рядами, от дивана до книжного шкафа. Вера смотрела на них и видела, как меняется время. Первые были серые, военные, из рыхлой бумаги с древесными волокнами, без всяких надписей на обложке. Потом пошли зелёные, с таблицей умножения на обороте. Потом тонкие голубые за две копейки, какие она и сама носила в портфеле в первом классе. Потом девяностые, с яркими картинками, и даже одна, совсем поздняя, с мультяшным медведем на обложке. Она представила себе, как очень старый человек с тростью стоит у газетного киоска и выбирает тетрадь, и продавщица советует ему взять с медведем, потому что других нет. От этой картины у неё сжалось горло.

В третьем ряду, между пятьдесят вторым и пятьдесят четвёртым годом, осталось пустое место. Она нарочно оставила его пустым. Паркет там был светлее, чем вокруг, потому что днём на это место падало солнце, и теперь эта полоска казалась ей пробелом в строке, который кто-то стёр ластиком.

Первая тетрадь была самая тонкая. Серая обложка, на ней карандашом, тем самым круглым почерком, который Берия когда-то назвал девичьим: «Октябрь 1944 — октябрь 1945». Вера осторожно пролистала её от начала до конца, не читая, просто чтобы понять объём. Сначала карандаш, потом чернила, бледно-фиолетовые, какими писали тогда в школах и конторах. Записи шли плотно, без полей. Последняя была датирована двенадцатым мая сорок пятого года. После неё

до самой обложки шли чистые листы, пожелтевшие по краям.

Она пересчитала их. Двадцать два.

Профессиональная привычка сработала раньше, чем она успела о ней подумать. Вера взяла с подоконника блок жёлтых бумажек для заметок и написала: «Т. 1. Последняя запись 12.05.1945. Далее 22 листа чистые». Приклеила бумажку на внутреннюю сторону обложки. Так она делала с каждым делом в архиве, чтобы потом, через год, не гадать, что было в папке, когда она открыла её впервые.

Потом вернулась к первой странице.

Запись начиналась без даты. Несколько строк, выведенных особенно старательно, как пишут первую фразу в новой тетради, пока рука ещё не устала.

*«Буду писать о нём как о чужом. Так легче. Его зовут Андрей Коржнев, по метрике ему двадцать лет, он демобилизован по ранению и приехал из Калинина. Всё остальное, что я о нём знаю, неправда. Или правда, которая ещё не случилась».*

Вера перечитала это дважды. Потом подтянула колени к груди, прислонилась спиной к дивану и стала читать дальше. За окном, во дворе, так и не уехала тёмная машина. А на страницах серой тетради шёл ноябрь сорок четвёртого года, и в Новосибирске лежал первый снег.

## II

Барак у бани на улице Кирова он нашёл не сразу. Их там

стояло четыре, одинаковых, длинных, обшитых потемневшим тёсом, с одним крыльцом посередине и рядом маленьких окон, заклеенных на зиму полосками газеты. Над трубами поднимался дым, прямой и неподвижный, как бывает только в сильный мороз. Снег выпал неделю назад и с тех пор не таял. Он скрипел под сапогами так громко, что Андрей невольно старался ступать тише.

Он шёл туда третье воскресенье подряд. Два раза доходил до угла и поворачивал обратно.

В этот раз в кармане шинели у него лежали кусок хозяйственного мыла и бумажный кулёк с сахаром, отложенным из пайка за две недели. Он сам не знал, зачем взял их. Наверное, затем, чтобы прийти не с пустыми руками и не выглядеть человеком, который пришёл только говорить. Говорить он боялся больше всего.

Внутри барака был длинный коридор, тёмный, с одной лампочкой в середине. Пахло кислыми щами, керосином, мокрыми валенками и мылом из общей прачечной. За дверями плакал ребёнок, кто-то ругался вполголоса, где-то стучала швейная машинка. Нужная дверь была восьмая слева. Он постоял перед ней, сделал вдох на четыре счёта, выдох на шесть и постучал.

Открыла Нюра. В платке, накинутом на плечи, в подшитых валенках, с книгой, заложенной пальцем. Она узнала его не сразу, а когда узнала, лицо у неё вспыхнуло.

— Мама! — крикнула она через плечо. — Мама, это тот

самый. Андрей. Который папку знал.

Комната была маленькая, разгороженная пополам ситцевой занавеской. Железная кровать, сундук, стол под клеёнкой, два табурета, печка, обложенная кирпичом. На стене ходики с гирькой. На окне кто-то нарисовал пальцем по инею цветок, и он так и остался, обросший новой изморозью.

Мать Нюры звали Евдокия Петровна. Ей было, наверное, лет сорок, но выглядела она старше: худая, жилистая, с красными от воды руками и прямым, недоверчивым взглядом человека, которого слишком долго ничем хорошим не удивляли. Она вытерла руки о фартук, кивнула ему и не улыбнулась.

— Садитесь, — сказала она. — Чаю нальём. Чай у нас, правда, морковный.

Он сел на табурет и выложил на стол мыло и сахар. Евдокия Петровна посмотрела на них, потом на него, и Андрей сообразил, что промахнулся. Подарок был слишком дорогой для незнакомого человека. Так приносят не в гости, а когда хотят чего-то попросить или в чём-то повиниться.

— Это от пайка, — сказал он. — Мне одному много.

Она помолчала, потом убрала сахар в шкафчик над столом. Мыло оставила лежать.

Там, на полке над кроватью, рядом с маленькой иконой без оклада, стояла жестяная коробка из-под чая. Андрей увидел её и перестал дышать.

Он знал эту коробку всю жизнь. В его детстве она стояла

у бабушки в серванте, за стеклом, облупленная, со слонами, которые давно потеряли краску и стали серыми, как настоящие слоны. Бабушка доставала её только по праздникам. Здесь коробка была почти новая. Слоны на крышке были синие, с золотыми попонами, и шли друг за другом, держась хоботом за хвост переднего. Золото блестело в свете керосиновой лампы.

Он отвёл глаза, но Нюра уже заметила, куда он смотрит.

— Там папкино письмо, — сказала она тихо. — И бумага про него.

— Нюра, — сказала мать.

Нюра замолчала. Евдокия Петровна разлила по кружкам бурый горячий чай, села напротив и сложила руки на столе.

— Ну, рассказывайте, — сказала она. — Как вы его знали. Где.

И Андрей стал рассказывать.

Он заранее решил говорить только то, что было правдой. Рассказ он взял у самого Ивана, у человека, который сидел на нарах во внутренней тюрьме и смотрел в угол, на чужую фамилию, нацарапанную на стене. Август сорок второго. Болото подо Ржевом, в котором они стояли по пояс трое суток. Немецкие миномёты. От роты осталось одиннадцать человек, потом семь. Иван всегда держался рядом с теми, кто помолже, и ругал их, если они высывались. Это Андрей прибавил от себя, но ему казалось, что и это правда.

Евдокия Петровна слушала, не перебивая. Только один

раз, когда он сказал про болото, её губы шевельнулись, будто она повторила это слово про себя.

— А дальше? — спросила она, когда он замолчал.

Дальше была воронка. Немецкая речь. Рука, которая вытаскивала раненого Ивана за шиворот. Лагерь под Вязьмой и зима, о которой Иван говорил так ровно, что от этой ровности становилось страшнее, чем от любых подробностей.

— Дальше нас разбросало, — сказал Андрей. — Я его больше не видел.

— Значит, не видели, как его убило?

— Не видел.

Она не сводила с него глаз. Потом сказала очень спокойно, как решают задачу:

— Значит, может, и живой.

Андрей молчал. В эту самую минуту, он знал это точно, человек с узловатыми пальцами столяра был где-то в Курляндии, по ту сторону фронта, среди тех, кто считал его своим. Живой. Андрей мог бы сказать это одним словом. И этим словом убил бы его.

— Не знаю, — сказал он. — Правда не знаю.

Евдокия Петровна кивнула: другого ответа она и не ждала. Встала, сняла с полки коробку со слонами, поставила на стол и открыла. Внутри лежали сложенный вчетверо листок, серый бланк извещения и маленькая фотография мужчины в косоворотке, с широким скуластым лицом и светлыми бровями.

— Вот, — сказала она. — Прочитайте. Может, вспомните чего.

Он развернул письмо. Карандаш, крупные буквы, строчки уходят вниз к правому краю. «Нюрке скажи, чтобы слушалась мать и зимой на лёд не ходила». Андрей знал эту фразу наизусть. Он поймал себя на том, что губы у него двигаются раньше глаз, и сжал их.

Нюра смотрела на него через стол.

— Он и нам так говорил, — сказал Андрей, не поднимая головы. — Про лёд. Всё время.

Это была уже третья неправда за вечер. Он их не считал. Они считались сами.

Его проводили до крыльца. На прощание Евдокия Петровна впервые посмотрела на него мягче и спросила, как его по батюшке.

— Сергеевич.

— Ты ходи к нам, Андрюша, — сказала она. — Нюрке с тобой веселее. И мне.

Он шёл обратно по скрипучему снегу и думал о том, что только что произошло. В его детстве в этой семье был дядя Андрей, однополчанин прадеда, которого он помнил плохо, седого, строгого, с часами на старом ремешке. Мама говорила, что он приезжал каждый май. Теперь Андрей понимал, что эта семейная история начинается сегодня, с куска мыла, с морковного чая, с трёх маленьких неправд. И что сочиняет её он сам.

### III

Зимой сорок пятого года мороз в Новосибирске доходил до сорока, и в механическом цехе комбината номер сто семьдесят девять от этого ничего не менялось. Станки грелись от работы, люди грелись от станков, а по полу из щелей под воротами тянуло таким холодом, что к утру у всех мёрзли ноги, даже в валенках.

Андрей был учётчиком. У него была будка из фанеры в конце пролёта, лампа на шнуре, конторская книга в коленкоровом переплёте и химический карандаш, который приходилось слюнявить, чтобы он писал ярче. Каждые два часа он обходил участок и записывал, сколько корпусов снарядов сдал каждый станок, сколько ушло в брак, кто где стоит. Цифры потом шли наверх, в бумаги, и из этих бумаг складывались другие бумаги, и где-то совсем далеко, в Москве, кто-то по ним понимал, сколько снарядов получит фронт через месяц.

В первую неделю он смотрел на цех так, как смотрят на картину. Длинный пролёт под закопчённой стеклянной крышей. Ряды станков, ремни, которые бегут от общего вала под потолком, свет ламп в железных колпаках. Визг резцов, запах горячей стружки и эмульсии, синеватый дым. И люди у станков. Женщины в ватниках. Старики. И мальчишки.

Мальчишкам было по четырнадцать, по пятнадцать лет. Многие из ремесленного училища, в чёрных шинелях с медными пуговицами, на которых был выдавлен молоток. Са-

мые маленькие стояли на деревянных ящиках, потому что иначе не доставали до суппорта. Андрей знал об этих ящиках из бабушкиных рассказов. Он думал, что бабушка преувеличивает, как преувеличивают все старые люди, когда вспоминают войну. Она не преувеличивала.

В середине января, под утро, в самый тяжёлый час ночной смены, он увидел, как спит Витька Лобанов.

Витька спал стоя. Руки у него лежали на маховике, голова склонилась набок, глаза были закрыты, а станок продолжал работать. Резец шёл по заготовке всё дальше, мимо отметки. Андрей понял, что сейчас будет, за секунду до того, как это случилось. Раздался короткий визг, потом хруст, и на пол со звоном полетел кусок металла. Витька проснулся, дёрнулся, чуть не свалился с ящика и уставился на испорченную заготовку, как на чужую.

К станку уже шёл мастер. Звали его Фёдор Игнатьевич, он приехал в сорок первом вместе с оборудованием из-под Тулы и до сих пор говорил с тульским распеваем, растягивая слова. Мастер он был строгий. За брак у него вычитали из заработка и могли передать дело дальше, а дальше начинались другие разговоры, о которых мальчишки знали всё.

Фёдор Игнатьевич посмотрел на заготовку, потом на Витьку, потом на Андрея, который стоял рядом с конторской книгой в руках.

— Записал? — спросил он.

Андрей посмотрел на книгу. Графа «брак» против Вить-

киной фамилии была пустая. Он перевёл взгляд на соседнюю строчку, на свою собственную пометку о том, сколько заготовок выдали на участок с вечера. Цифра была его, и исправить её мог только он.

— Это я, — сказал он. — Я неправильно посчитал выдачу. Одной заготовки не было.

Сказал и сам удивился, как ровно это прозвучало. Мастер помолчал. Витька, бледный, переводил глаза с одного на другого.

— Не было, значит, — сказал Фёдор Игнатьевич. — Ну, гляди, учётчик. Цифра штука такая. Один раз не сойдётся, и потом уж ничего не сойдётся.

Он ушёл, а Андрей так и стоял в своей будке и смотрел на исправленную цифру. Он понимал, что это неправильно. Что учёт ведут не для того, чтобы жалеть мальчишек. Что если таких цифр станет много, они где-то наверху сложатся в недостачу снарядов, которых не хватит кому-то на фронте. И всё равно он знал, что сделал бы это ещё раз. В его тетради с будущим не было Витьки Лобанова, и никто никогда не узнает, что с ним стало. Значит, хотя бы эту строчку он мог написать сам.

Утром, когда смена кончилась, Витька догнал его у проходной, ничего не сказал, только сунул ему в руку что-то тёплое и убежал. Это была печёная картофелина, ещё горячая, в обгоревшей коже.

По ночам, после смены, Андрей писал.

Общежитие было в двух кварталах от комбината. Комната на шесть коек, печка, стол у окна, на столе лампа без абажура. Соседи спали, отвернувшись к стене, а он садился у окна, раскрывал синюю тетрадь и писал будущее. Тетрадь для того, кто однажды скажет «Привет от Сосело». Всё, что он помнил о сорок пятом годе. Писал медленно, с вопросительными знаками в скобках, и каждый такой знак был как маленький замок на двери, за которой он не был уверен, что ещё лежит то, что он туда положил.

Газета «Советская Сибирь» висела на стенде у проходной, и он читал её каждое утро, как читают письма из дома. Семнадцатое января: освобождена Варшава. Он стоял перед стендом и чувствовал, как отпускает в груди. В середине февраля напечатали сообщение о встрече трёх руководителей в Крыму. Совпало и это. Каждое совпадение приносило облегчение, а за облегчением приходил страх, потому что с каждым днём ставка становилась выше. Он пообещал Лучко весну. Он написал в синей тетради девятое мая. Если колёсики сдвинулись хоть на один зубец, если хоть что-то пойдёт не так, как в учебнике, он узнает об этом вместе со всеми, из этой же газеты, и ничего не сможет сделать.

Иногда, когда не писалось, он доставал из нагрудного кармана голубую ленточку Шиловой и держал её в пальцах. Или клал перед собой часы Лучко и слушал, как они тикают. Ход у них был громкий, тяжёлый, и в тишине спящей комнаты казалось, что это стучит чьё-то большое сердце.

Он возвращался из комбината мимо нового театра. Огромный серый купол поднимался над площадью, и в морозные утра его было видно издалека, раньше всех остальных зданий. Внутри, Андрей знал это точно, в ящиках лежали картины Третьяковской галереи. Суриков, Васнецов, Левитан. Он всё думал о том, что в этом городе сейчас хранится сразу столько чужих сокровищ: картины из Москвы, станки из Тулы, люди из Ленинграда. И одно будущее, о котором не знает никто.

Весна приближалась. Впервые в жизни он боялся весны.

#### IV

К весне он ходил на Кирова каждое воскресенье.

Евдокия Петровна перестала смотреть на него с недоверием. Теперь она ворчала на него, как ворчат на своих: что худой, что шинель надо зашить, что учётчик должен есть больше, потому что голова тоже работа. Сахар он больше не приносил. Приносил дрова, которые выменивал на махорку, полагавшуюся ему по карточке. Сам он не курил, и это было единственное, что выдавало в нём человека не отсюда. Мужчины, которые не курили, встречались в сорок пятом году реже, чем мужчины без медалей.

Нюра называла его дядей Андреем. Началось это в шутку, в марте, когда он слишком серьёзно отчитал её за то, что она читает при коптилке и портит глаза.

— Хорошо, дядя Андрей, — сказала она тогда с поклоном, как в старинной пьесе. — Слушаюсь, дядя Андрей.

Она рассмеялась, а он стоял и не мог ничего сказать. Он вдруг услышал, откуда пришло это имя. Он слышал его в детстве от мамы, а мама от бабушки, а бабушка вот отсюда, от этой девчонки, которой было смешно, что парень всего на три года старше её ведёт себя как старик. Нюра продолжала звать его так и дальше, уже без смеха, по привычке. А он каждый раз вздрагивал, будто кто-то трогал его за плечо.

В последнее воскресенье апреля пошёл лёд.

Смотреть ледоход на Обь ходил, кажется, весь город. Шли семьями, с детьми на плечах, становились вдоль берега у железнодорожного моста и стояли часами. Лёд шёл серый, грязный, с вмёрзшими ветками и соломой. Льдины наползали друг на друга, вставали торчком, лопались с таким звуком, будто где-то стреляла артиллерия. Пахло мокрым снегом, талой водой и весной, которая пахла так же, как в его детстве, на этом же берегу, семьдесят лет спустя. Это было единственное, что совпало целиком. Запах.

Нюра стояла у самой воды, на камне. Она хотела разглядеть что-то на проплывающей льдине и сделала шаг вперёд, на край.

Андрей схватил её за локоть и дёрнул назад так резко, что она чуть не упала.

— Ты что? — Она обернулась, испуганная и сердитая.

— На лёд не ходи, — сказал он.

Нюра хотела ответить резко и осеклась. Посмотрела на него пристально, как смотрят на человека, который сказал

чужим голосом знакомые слова. Потом отвернулась к реке и до самого дома не проронила ни слова.

Восьмого мая он вышел в ночную смену.

В цеху весь вечер говорили об одном. Что Берлин взят ещё неделю назад. Что вот-вот. Что на Карла Маркса кто-то уже видел пьяного лейтенанта, который кричал, что всё кончилось, и его увёл патруль. Андрей ходил по пролёту с конторской книгой и молчал. Он знал, что будет этой ночью. Знал до минуты, хотя минута была московская, и он считал в уме разницу во времени, как будто от этой арифметики что-нибудь зависело.

Около шести утра, когда за стеклянной крышей уже серело, громкоговоритель под потолком щёлкнул и зашипел.

Кто-то первым остановил станок. Потом второй, третий. Ремни под потолком ещё бежали, но визг резцов затих, и в огромном цеху стало слышно, как шипит репродуктор и как где-то капает вода. Люди стояли у станков и смотрели вверх, на чёрный раструб.

Потом заговорил голос.

Андрей слышал этот голос сотни раз. В записях, в кинохронике, в школьных видеороликах ко Дню Победы, всегда с треском, всегда издалека, как звук из соседней комнаты. Здесь он звучал по-другому. Близко. Живой голос живого человека, который читал сейчас, в эту самую минуту, и у которого, кажется, перехватывало горло.

Андрей думал, что выдержит. Он готовился к этому всю

зиму. Он знал каждое слово, которое сейчас прозвучит. Он стоял в своей фанерной будке с карандашом в руке и чувствовал, как у него трясутся колени, и не мог понять, отчего. Не от новости. Новость он знал. От того, что он внутри. Что он больше не смотрит хронику. Что вокруг него стоят эти женщины в ватниках, этот старый мастер из-под Тулы, эти мальчишки на ящиках, и они слышат это впервые.

Фёдор Игнатьевич снял шапку. Женщина у соседнего станка села прямо на пол, на стружку, и закрыла лицо руками. Витька Лобанов стоял на своём ящике и плакал в голос, некрасиво, по-детски, открыв рот. А потом цех закричал. Это был не крик даже, а рёв, такой, что дрогнули стёкла в крыше.

Андрей понял, что тоже плачет, только когда карандаш выпал у него из пальцев.

У проходной было уже светло илюдно. Выходила ночная смена, и навстречу ей бежала утренняя, и все обнимались со всеми, с незнакомыми, с вахтёром, с милиционером. Нюра налетела на него из толпы, повисла на шее и целовала в обе щеки, мокрая от слёз.

— Дядя Андрей! Дядя Андрей, кончилось! Слышишь? Кончилось!

Он обнимал её и смотрел поверх её платка на серый купол театра, на дымы над крышами, на розовое небо над Обью. И думал о человеке в стоптанных сапогах, который ушёл в самолёт на Ходынке и обернулся у трапа. Где-то там, далеко на

западе, этот человек тоже, может быть, слышал сейчас этот голос. Или не слышал уже ничего.

Вечером на Кирова Евдокия Петровна накрыла стол. Варёная картошка, селёдка, полбутылки водки, которую берегли с сорок первого года. Она налила себе на донышко, поддержала стакан и сказала, глядя на фотографию в коробке со слонами:

— А Ваня не дожил.

Андрей смотрел в стол. Он мог бы сказать одно слово. Он не сказал.

## V

Открытка пришла одиннадцатого мая.

Её принесла комендантша общежития, тётя Шура, толстая, одышливая, с ключами на поясе. Она постучала в дверь среди дня, когда Андрей отсыпался после смены, и протянула ему открытку двумя пальцами, будто это была не бумага, а что-то горячее.

— Тебе, Коржев. С фронту.

Он сел на койке и долго не мог понять, о чём она говорит. Писем ему не писал никто. Бережной сказал ясно: ни писем, ни звонков, ни запросов. Ты никого не знаешь, тебя никто не знает. За семь месяцев он ни разу не заглянул в ящик для почты у входа, потому что не ждал оттуда ничего.

Открытка была фронтовая, на серой тонкой бумаге. С лицевой стороны красноармеец в каске поднимал над головой автомат, а за ним в дыму стояли развалины какого-то боль-

шого здания с колоннами. Поперёк картинки было напечатано красным: «Слава воинам Красной Армии!» На обороте, в графе для адреса, его общежитие, комната, фамилия. Почерк крупный, корявый, с сильным нажимом, будто писали на колене.

А в графе для письма было одно слово.

«Весна».

И ниже, совсем мелко, одна буква: «А.»

Обратного адреса не было. Только штемпель полевой почты с номером и чернильный треугольник военной цензуры.

Андрей сидел на койке и смотрел на это слово. Потом рассмеялся. Громко, так, что сосед на соседней койке заворочался и что-то пробормотал во сне. Он смеялся и не мог остановиться, и сам не заметил, когда смех перешёл в другое, и он уже сидел, прижав открытку к груди, и плечи у него тряслись.

Лучко. Тот самый Лучко, который в сарае под Кармановом курил в кулак и спрашивал, знает ли он, когда это всё кончится. Который на перроне Ярославского вокзала сказал: если соврал, найду хоть в Сибири. Он не соврал. И Лучко его нашёл.

Успокоившись, он прочитал штемпель ещё раз, внимательнее, и тут ему стало не до смеха.

Полевая почта. Значит, Лучко где-то в войсках, может быть, в Германии. И оттуда, через всю страну, нашёл его адрес. Комнату в общежитии, о которой знали, как Андрей ду-

мал, три человека. Бережной, женщина из горисполкома и тётя Шура. Значит, Бережной сказал. Или Лучко узнал сам, по своим каналам, как узнают такие люди. Андрей представил себе это очень ясно: если один человек с обожжённым лицом сумел найти его через всю страну за неделю, то сумеет и кто-то другой. Тот, кому он нужен не для того, чтобы написать одно слово на открытке.

Он спрятал открытку не в синюю тетрадь, а в свою, серую, между последними исписанными страницами. Синяя принадлежала тому, кто однажды скажет «Привет от Сосело». Серая принадлежала ему одному. И долго сидел, глядя в окно, на мокрый двор, где мальчишки гоняли по лужам консервную банку.

Вечером на Кирова его ждала Нюра. Она выбежала на встречу ещё во дворе и замахала чем-то над головой.

— Дядя Андрей! Смотри!

Это были два билета. Маленькие, бледно-розовые, с печатью. В новый театр, на открытие, на двенадцатое мая.

— От цеха дали, — сказала Нюра, задыхаясь от быстрого бега и от гордости. — Лучшим. Мне и ещё двум девчонкам. Мама не пойдёт, говорит, ей не в чем, в ботах в театр не ходят. Пойдёшь со мной?

Он взял билет и прочитал название оперы, напечатанное мелкими буквами.

Он знал, что театр открылся в мае сорок пятого. Это было в его школьном учебнике по краеведению, на одной страни-

це с фотографией купола и подписью. Но он никогда не задумывался, какая опера шла в тот вечер. Теперь он держал билет в руке и смотрел на два слова.

«Иван Сусанин».

— Про Ивана, — сказала Нюра. Она заглянула ему через плечо и вдруг стала серьёзной. — Как папку.

Андрей кивнул. Он знал эту историю с детства, как её знает любой школьник. Крестьянин, который завёл врагов в лесную чащу, откуда им не было дороги назад. Который сделал вид, что служит им, а сам вёл их на гибель. И погиб сам.

Он подумал о другом Иване. О человеке, который сейчас, может быть, точно так же вёл кого-то по своему лесу, делая вид, что служит, и никто на свете, кроме нескольких людей в Москве, не знал, куда он ведёт на самом деле.

— Пойду, — сказал Андрей. — Конечно пойду.

Нюра засмеялась и убежала в барак, крича матери, что дядя Андрей согласился. Он остался стоять во дворе с розовым билетом в руке. Над крышей бани поднимался дым. Где-то играла гармошка, третий день подряд, с самого утра девятого мая, и никто не просил её замолчать.

## VI

В вестибюле нового театра пахло краской, известью и нафталином.

Краской и известью пахли стены, которые докрашивали, кажется, ещё вчера. Нафталином пахли люди. Город доставал из сундуков всё, что пролежало там четыре года: довоен-

ные платья, костюмы, которые теперь висели на плечах мешком, туфли, сбережённые для какого-то особого дня, который никак не наступал и вот наступил. Мужчины пришли в гимнастёрках с медалями, и медали звенели, когда они проходили в двери. Женщины пришли с цветами, которых в мае в Новосибирске ещё не было, поэтому цветы были бумажные.

На Нюре было мамино платье, синее в мелкий белый горошек, ушитое в талии английскими булавками. Она весь вечер держала руку на боку, чтобы булавки не было видно, и всё равно была самой красивой в этой толпе. Андрей так ей и сказал, и она покраснела до ушей и стукнула его программкой по плечу.

Зал оказался таким огромным, что у него закружилась голова. Ряды поднимались амфитеатром, уходили вверх, под самый купол, и там, наверху, в полутьме, люди казались маленькими, как на старых фотографиях. Пахло пылью, деревом и тёплым воздухом от тысяч дыханий. Оркестр настраивался. Скрипки тянули одну ноту, гобой отвечал им, где-то бухнул и замолчал барабан. Андрей сидел рядом с Нюрой в двадцатом ряду и думал о том, что через семьдесят лет он будет приходить в этот зал с мамой, на «Щелкунчика», каждый декабрь. Он помнил этот купол изнутри. Он помнил даже, где в фойе стоит автомат с шоколадками. Здесь не было ни автомата, ни мамы, ни его самого.

Потом погас свет.

Он плохо помнил, что было на сцене в первых действиях. Помнил музыку, которая шла на него волнами и не давала думать. Помнил, как Нюра схватила его за руку и не отпустила. Помнил, как вокруг плакали люди, которые три дня назад узнали, что война кончилась, и теперь плакали обо всём сразу. О тех, кто не пришёл. О себе. О том, что можно наконец плакать.

В антракте перед последним действием он вышел в фойе один. Нюра убежала к девчонкам из цеха. Андрей стоял у колонны, смотрел в высокое окно на площадь, где ещё не погасло вечернее небо, и пытался надышаться, потому что в зале было душно.

Человек подошёл к нему сбоку. Немолодой, в штатском пальто, слишком хорошем для этого города, в фетровой шляпе. С лицом, которое невозможно было запомнить. Он встал рядом, тоже глядя в окно, и сказал негромко, не поворачивая головы:

— Андрей Сергеевич. Привет от Сосело.

Андрей не сразу понял. Слова дошли до него медленно, будто по проводу издалека.

— Сейчас май, — сказал он. — Мне говорили, в октябре.

— Говорили, — согласился человек. — А теперь велено сейчас. Машина у театра. Самолёт утром. Вещи вам соберут.

Он произнёс это так спокойно, как сообщают расписание поездов. Андрей смотрел на его профиль, на гладко выбритую щёку, на шляпу. Внутри у него всё сжалось в одну точку

и стало очень холодным.

— Можно досмотреть? — спросил он. Сам удивился, что спросил именно это.

Человек впервые повернулся и посмотрел на него. Взгляд был короткий, оценивающий, и, кажется, слегка удивлённый.

— Досмотрите, — сказал он. — Машина подождёт.

И ушёл, не прощаясь, растворился среди гимнастёрок и довоенных платьев.

Последнее действие Андрей смотрел так, как не смотрел ничего в жизни. На сцене была ночь и зимний лес. Старик стоял среди врагов, которых сам завёл в эту чащу, и знал, что утром его убьют. И пел. Андрей не слышал слов, он слышал только голос, низкий, усталый, прощальный. Он думал об Иване. О человеке, который сделал вид, что служит, и повёл чужих по своему лесу. Он думал о том, что, может быть, Иван тоже стоит сейчас где-то среди врагов и тоже знает, чем это кончится. И что никто, кроме нескольких людей, не узнает, ради чего.

Нюра плакала, уткнувшись ему в плечо. Он гладил её по волосам и смотрел на сцену сухими глазами.

У театра, на ступенях, он сказал ей, что уезжает. По работе. Срочно. Что вернётся.

— Когда? — спросила она.

— Не знаю.

— Опять не знаешь, — сказала она. Без обиды. Как гово-

рят о погоде, которую нельзя изменить. Потом поднялась на цыпочки и поцеловала его в щёку. — Ты возвращайся, дядя Андрей. Мы с мамой ждать будем. Мы умеем.

У края площади стояла чёрная машина с погашенными фарами.

\* \* \*

На этом записи кончались.

Вера Андреевна закрыла тетрадь и долго сидела на полу, прислонившись к дивану. За окном светало. Во дворе хлопнула дверца машины, заурчал мотор и стих вдали. Она не стала смотреть, та ли это машина.

Она сварила кофе. Выпила его стоя, у плиты, глядя на тетради, разложенные на полу гостиной. Потом вернулась, села на прежнее место и снова открыла первую тетрадь. Ей хотелось ещё раз прочитать последнюю страницу, про ступени театра и чёрную машину.

На следующей странице было написано.

Вера не сразу поняла, что видит. Тот же почерк, только твёрже и мельче. Те же бледно-фиолетовые чернила, выцветшие и проевшие бумагу так, как выцветают и проедают за восемьдесят лет. Строчки шли плотно, без полей. Вверху стояла дата: «14 января 1946».

Первая фраза была короткая. И впервые за всю тетрадь написана не о нём, а о себе.

*«Он назвал меня Арсением».*

Вера подняла глаза на обложку. На внутренней стороне

висела её собственная жёлтая бумажка, приклеенная пять часов назад, её собственным почерком: «Т. 1. Последняя запись 12.05.1945. Далее 22 листа чистые».

Она пересчитала листы.

Чистых осталось девятнадцать.

## Глава вторая. Немыслимое



### I

Самолёт был транспортный, двухмоторный, с жёсткими металлическими скамьями вдоль бортов и круглыми окошками, через которые почти ничего не было видно. Кроме Андрея и человека в шляпе в салоне летели трое военных с портфелями, прикованными к запястьям тонкими цепочка-

ми, и ящики, накрытые брезентом. Военные сразу уснули. Человек в шляпе сел напротив, снял шляпу, положил её на колени и больше за весь полёт не сказал ни слова.

Андрей смотрел в окошко. Внизу уходил назад Новосибирск, маленький, серый, с куполом театра посередине, похожим отсюда на перевёрнутую чашку. Потом город затянуло облаками, и смотреть стало не на что.

Вещи ему действительно собрали. Он нашёл их в машине у театра: вещмешок, а в нём бельё, бритва, две тетради, синяя и серая, и часы Лучко, которые он утром забыл на тумбочке. Кто-то зашёл в его комнату в общежитии, пока он слушал «Сусанина». Открыл тумбочку, взял тетради, ничего не перепутал и ничего не оставил лишнего. Андрей думал об этом всю дорогу до аэродрома. О том, что его жизнь в этом городе, которую он считал своей, на самом деле всё это время лежала у кого-то на ладони.

Нюра осталась на ступенях театра. В мамином платье, ушитом булавками. Он не обернулся, когда садился в машину, потому что знал: если обернётся, то не сядет. И теперь, в гудящем холодном салоне, он всё время видел её спиной, то есть тем местом, где должен был видеть её лицо, и это было хуже, чем если бы он обернулся.

В Омске сели на дозаправку. Был серый рассвет, ветер гнал по лётному полю прошлогоднюю траву, и над низкими строениями аэродрома висел ветровой конус, полосатый, набухший, как живой. Их не выпустили из самолёта. Человек

в шляпе вышел один, поговорил с кем-то у трапа и вернулся с двумя кружками горячего чая. Одну протянул Андрею.

— Спасибо, — сказал Андрей.

Человек кивнул. Потом, впервые за всё время, спросил:

— Опера понравилась?

Вопрос был такой неожиданный и такой обыкновенный, что Андрей растерялся.

— Понравилась.

— Я последнее действие не видел, — сказал человек. — Машину ждал. Чем кончилось?

— Его убили.

— А, — сказал человек. Он так и думал. И снова замолчал, до самой Москвы.

Москва встретила их вечером, тёплым и ясным. Андрей ехал в машине по городу и не узнавал его. Не потому, что город изменился. Он изменился мало: те же дома, те же трамваи, те же очереди. Но окна горели. Все окна, во всех домах, без штор, без бумажных крестов, без синих лампочек, и от этого город казался непривычно голым, как человек, который вдруг снял шинель, и под ней оказалась обыкновенная рубаша. Над Кремлём горели звёзды. Те самые, рубиновые, которые в октябре были закутаны в мешковину. Он смотрел на них из окна машины, и у него щипало глаза.

На улицах былолюдно, и люди никуда не спешили. Это поразило его сильнее всего. Они стояли, курили, смеялись, сидели на ступенях, держали друг друга за руки. Война кон-

чилась пять дней назад, и город ещё не привык, что можно никуда не спешить.

Во флигеле в Кунцеве всё было так, как он оставил в октябре. Две комнаты. Печь. Письменный стол у окна. Железная кровать, застеленная тем же серым одеялом. На полке книги, которые он читал тогда, и закладка в «Петре Первом» на том же месте. Он подошёл к окну. За окном был тот же сосновый лес, только теперь не мокрый и чёрный, а светлый, прозрачный, с молодой травой между стволами.

Кто-то стукнул в стекло. Андрей вздрогнул и отступил.

На подоконнике снаружи сидела синица. Желтогрудая, с чёрной шапочкой, деловитая. Она посмотрела на него сначала одним глазом, потом другим, и снова стукнула клювом в стекло, будто спрашивала, где он пропадал.

Он не знал, та ли это синица. Наверное, нет. Синицы столько не живут. Но ему хотелось думать, что та.

Потом он ждал. Его никто не вызывал. Охрана была та же, молчаливая, в штатском, и на все вопросы отвечала одинаково: скажут. Еду приносили три раза в день. Газеты приносили каждое утро. Он читал их, сидя у окна, и каждый день всё внимательнее, потому что понимал: его привезли не просто так, и не в октябре, а сейчас. Значит, что-то случилось. Что-то, о чём нельзя было ждать до осени.

Он перебирал в памяти май сорок пятого и снова и снова наткался на одно и то же место. На документ, который он видел однажды в сборнике рассекреченных британских бу-

маг, в библиотеке, когда ходил на подготовительные курсы. На титульный лист с датой и коротким, почти насмешливым названием.

На одиннадцатый день, ночью, за ним пришли.

## II

Дорожка к главному дому шла через сирень. Сирень цвела, тяжёлая, тёмная в ночи, и запах её был такой густой, что казалось, будто идёшь не по воздуху, а сквозь воду. Андрей шёл за охранником и думал, что в октябре этих кустов не было. Были голые прутья. Он их тогда не заметил.

В большой комнате с длинным столом горела только настольная лампа. Окно было открыто в сад, и оттуда тянуло сиренью и сыростью. Сталин стоял у окна спиной к двери. На нём был светлый летний китель без погон и мягкие сапоги. Андрей знал, что он не услышит его шагов, и всё равно вздрогнул, когда тот повернулся.

— Пришёл, — сказал Сталин. — Садись. Как Сибирь?

Он спросил это так, будто Андрей вернулся из командировки, о которой они договаривались вместе. Андрей сел на край стула у стола.

— Холодно было, Иосиф Виссарионович. Теперь тепло.

— Театр открыли.

Это был не вопрос. Андрей поднял глаза.

— Открыли. Двенадцатого.

— «Сусанин», — сказал Сталин и усмехнулся одними усами. — Хорошая опера. Раньше там царь был. Теперь царя

нет, а опера осталась. Значит, хорошая.

Он подошёл к столу, сел напротив, не торопясь, и достал из коробки папиросу. Андрей смотрел, как его пальцы ломают папиросу пополам, как высыпают табак в трубку, как уминают его большим пальцем. Он видел это уже однажды, в октябре, и тогда это показалось ему просто привычкой. Теперь он смотрел внимательнее. Пальцы двигались медленно и очень точно, как у часовщика. Человек, который так набивает трубку, никуда не спешит. Он даёт тому, кто напротив, время испугаться.

Андрей заставил себя смотреть ему в лицо. Отведённых глаз здесь не прощали. Он помнил это.

— Тетрадь твою читал, — сказал Сталин, раскуривая. — Девятое мая. Совпало. Капитуляция ночью. Совпало. Я думал, ты ошибся на день, на два. Ты не ошибся.

— Не ошибся.

— Вопросыки ставишь, — продолжал Сталин, не слушая. — Девятое мая, вопросик. Потсдам, вопросик. Зачем вопросыки? Боишься?

— Боюсь, Иосиф Виссарионович.

— Чего?

Андрей помолчал. Ответ был, и он был простой, и он не знал, можно ли его говорить вслух.

— Что я здесь, — сказал он наконец. — Что из-за меня что-нибудь пойдёт не так, как было написано. Я в октябре был в театре. Там тоже было не так, как в книгах.

Сталин смотрел на него сквозь дым. Потом кивнул один раз.

— Правильно боишься, — сказал он. — Кто не боится, тот дурак. С дураками я не разговариваю.

Он придвинул к себе лист бумаги и взял синий карандаш. Андрей узнал этот карандаш, толстый, граненый, наполовину сточенный. Сталин не стал ничего писать. Он стал рисовать на углу листа, не глядя, короткими штрихами. Андрей не видел, что выходит. Он слушал.

— Мне докладывают, — сказал Сталин ровно, как читают сводку. — Англичане немцев не распускают. Целые дивизии сидят у них в лагерях. Офицеры при них. Оружие сложено рядом, под охраной, но рядом. Немцы ходят строем, поют свои песни. Война кончилась, а англичане немцев держат, как держат собаку на цепи у будки. Зачем держат собаку на цепи? Чтобы спустить.

Карандаш остановился.

— Черчилль пишет Трумэну, — продолжал он. — Пишет много. Мне пишет мало. Улыбается мне на бумаге. А дивизии держит.

Он поднял глаза на Андрея.

— Ты книжки читал. Что там написано про это лето? Будут англичане воевать?

Вот оно, подумал Андрей. Вот почему май, а не октябрь.

Он чувствовал, как у него холодеют пальцы и как кровь отливает от лица. Он знал ответ. Знал его подробнее, чем

любой человек в этой стране, кроме, может быть, двух-трёх разведчиков, о которых он тоже знал, но о которых думать было ещё страшнее. Он знал название. Знал дату на титульном листе. Знал число дивизий. Знал, чем всё кончится.

И он знал, что этот ответ может сделать.

Если сказать только половину, только то, что план есть, то человек напротив может решить, что ждать нельзя. Что надо успеть первым. У него за спиной стояла армия, которая только что взяла Берлин, и эта армия ещё не остыла. Одно слово, сказанное не так, и лето сорок пятого года пойдёт по другой колее, куда не заглядывал ни один учебник. А если промолчать, то человек напротив будет гадать сам. И гадать будет не в пользу англичан.

Вдох на четыре. Выдох на шесть.

Он понял, что говорить придётся всё. Не всё, что знает. Всё, что относится к этому лету. До самого конца. Потому что опасна была не правда, а её половина.

— Будут готовить, — сказал Андрей. — Воевать не будут. Сталин молчал. Карандаш лежал на столе.

— План есть, — продолжал Андрей. — Его составили по приказу Черчилля. Он называется «Немыслимое».

### III

Он говорил долго. Сталин ни разу его не перебил.

Документ датирован двадцать вторым мая. Его составили в штабе, который в Лондоне называют объединённым штабом планирования. Начало назначено на первое июля. Сорок

семь дивизий, английских, американских, польских. Удар в центре Германии, чтобы отбросить Красную армию на восток. И немцы. До ста тысяч немецких солдат, которых снова поставят в строй, если понадобится. Вот зачем держат собаку на цепи.

Он говорил и слышал собственный голос со стороны, как в тот первый раз, на Лубянке, когда рассказывал про Таврина. Голос был ровный. Руки лежали на коленях, и он не давал им сжиматься.

— Но в том же докладе, — сказал он, — сами составители напишут, что это рискованно. А в начале июня, восьмого или девятого, начальники штабов ответят Черчиллю, что быстрой победы не будет. Будет долгая война против превосходящих сил. Они посчитают дивизии, Иосиф Виссарионович. Им не хватит.

— Посчитают, — повторил Сталин. — Хорошие генералы. Умеют считать.

Он впервые за весь разговор шевельнулся. Отложил трубку, наклонился вперёд и посмотрел на Андрея так, как смотрят сквозь стекло на что-то очень маленькое.

— Откуда ты это знаешь? Это ведь не в газете было.

— Англичане сами откроют эти бумаги. Через пятьдесят с лишним лет. Напечатают целиком, с картами и таблицами. Я читал копию в библиотеке.

— Сами, — сказал Сталин. — Зачем?

— Так у них принято. Через какое-то время всё отдадут

историкам.

Сталин помолчал, потом негромко засмеялся. Это был короткий, хрипловатый смех, тот самый, который Андрей слышал в октябре, когда прозвучало имя «Никита». В нём не было веселья. В нём было что-то другое, вроде удивления человека, которому показали фокус и который уже понял, как он сделан, и всё равно доволен.

— Хитрые, — сказал он. — Ждут, пока все умрут, потом отдают. Хорошо придумали.

Потом снова стал серьёзным.

— Черчилль не отступится. Генералы отказали, он найдёт других генералов.

— Не найдёт, — сказал Андрей. — У него не будет времени. Пятого июля в Англии выборы. Результаты объявят двадцать шестого, позже, потому что будут ждать голоса солдат из-за границы. Черчилль проиграет. Двадцать шестого июля он уйдёт в отставку, и премьер-министром станет Эттли.

В комнате стало очень тихо. Где-то в саду крикнула ночная птица.

— Приграет, — медленно повторил Сталин. — Черчилль. После такой войны. Народ, который он через всю войну провёл, его выгонит.

— Выгонит, Иосиф Виссарионович.

— Ты понимаешь, что ты говоришь?

— Понимаю.

Сталин смотрел на него не отрываясь. Андрей держал его

взгляд и чувствовал, как по спине между лопатками медленно ползёт капля пота. Он знал, о чём сейчас думает этот человек. О том, что, если мальчишка ошибся, он ошибся смертельно. И о том, что, если не ошибся, мир устроен совсем не так, как он привык думать.

— Хорошо, — сказал Сталин наконец. — Двадцать шестое июля. Проверим.

Он снова взял синий карандаш и вернулся к рисунку на углу листа. Теперь Андрей видел, что там. Волк. Поджарый, на длинных ногах, с опущенной головой и прижатыми ушами. Волк крался куда-то за край бумаги.

— Кто у нас там? — спросил Сталин, не поднимая глаз от рисунка. — Кто мне это из Лондона скажет? Ты ведь знаешь. Ты всё про них знаешь.

Андрей знал. Он знал пять фамилий, которые через много лет напишут на обложках книг. Знал, кто из этих людей сейчас ходит по лондонским коридорам с бумагами в портфеле. Знал, кого из них раскроют и когда.

— Вам скажут, — ответил он. — Скоро. Без меня.

Карандаш остановился. Сталин поднял голову.

— Знаешь, значит. И молчишь.

— Молчу, Иосиф Виссарионович.

Он ждал гнева. Гнева не было. Сталин посмотрел на него с тем же странным выражением, с каким в октябре сказал: «Сидит и не боится».

— Правильно молчишь, — сказал он. — Чем меньше лю-

дей знают имя, тем дольше человек живёт. Это я понимаю.

Он отложил карандаш, выбил трубку в пепельницу и встал. Разговор, кажется, был окончен. Андрей тоже поднялся. Но у двери Сталин остановил его вопросом, заданным в спину, негромко, почти небрежно.

— А после англичан? Американцы что будут делать?

Андрей обернулся.

Он знал, что американцы будут делать через семь недель. Знал место, пустыню в Нью-Мексико. Знал дату, шестнадцатое июля. Знал, что будет в августе и как будут называться два японских города, которые через несколько недель перестанут существовать. Всё это было в нём, как в запертом ящике, и ключ лежал у него во рту.

— У американцев в июле будет своё дело, — сказал он.  
— Об этом я пока не готов говорить.

Сталин смотрел на него от окна, и в свете лампы его лицо было как вырезанное из тёмного дерева.

— Лаврентий тебя про уран спрашивал, — сказал он. — Осенью. Я знаю. Лаврентий бы сейчас из тебя это вытряс. Я не буду. Скажешь, когда сам решишь, что пора. Только смотри не опоздай.

Назад Андрей шёл через сирень. Ночь была тёплая, над соснами стояла белая майская луна. Он шёл и думал о том, что сегодня впервые сказал этому человеку всё, о чём его спросили, и всё равно унёс с собой самое главное. Что промолчать про июль оказалось труднее, чем рассказать про

Черчилля. И что от этого молчания теперь зависит больше, чем от любого слова, которое он когда-либо произнесёт вслух.

#### IV

Бережной приехал в середине июня, под вечер, без предупреждения.

Андрей услышал шаги на крыльце флигеля и узнал их раньше, чем увидел. Тяжёлые, неторопливые, с лёгким при шаркиванием левой ноги, которого он раньше не замечал. Дверь открылась, и полковник встал на пороге, заслонив собой весь проём. Тот же, в стальных очках, с бритой головой. Только похудел, и гимнастёрка висела на нём свободнее, и на груди появились орденские планки, которых в октябре не было.

Они смотрели друг на друга, и оба не знали, как поздороваться. Потом Бережной шагнул вперёд и сжал его руку, крепко, коротко, и задержал её на секунду дольше, чем требовалось.

— Живой, — сказал он.

— Живой.

— Отъелся в Сибири. — Бережной оглядел его поверх очков. — Это хорошо. Здесь отъедаться не дадут.

Они сели к столу. Андрей поставил чайник на плитку. Бережной снял фуражку, положил её на колено и долго молчал, глядя в окно, на сосны, на синицу, которая прыгала по подоконнику. Андрей знал эту его манеру. Полковник никогда

не начинал с главного. Он сначала молчал, а главное приходило само.

— Хозяин доволен, — сказал наконец Бережной. — Что-то у него сошлось. Неделю назад. Мне не сказали что. Мне сказали только, что ты прав. Я и не спрашиваю.

Андрей кивнул. Он понимал, что сошлось. Где-то в Лондоне начальники штабов положили на стол Черчилля свой отказ, и через несколько дней этот отказ, переписанный чужой рукой, лежал на другом столе, в Кремле. Значит, колёсики крутились, как надо. Хотя бы эти.

— Открытку получил? — спросил вдруг Бережной.

Андрей поднял голову.

— Так это вы...

— Я. — Полковник поморщился, как от зубной боли. — Лучко меня неделю изводил. Он сейчас в Германии, в оперативной группе, под Берлином. Писал мне через день. Где студент да где студент. Говорит, обещал ему, что весной кончится, а он хочет сказать, что кончилось. Я ему сказал адрес. Велел одно слово, без подписи. Он написал одну букву. — Бережной покачал головой. — Дурак я старый. Нельзя было.

— Я рад, что вы сказали, — тихо сказал Андрей.

— Ты рад, — согласился Бережной. — А я не рад. Потому что, если твой адрес знал Лучко, его мог узнать кто угодно. А его узнали.

Чайник засвистел. Андрей снял его с плитки и забыл налить.

— Кто?

— Твой самолёт сел на Центральном аэродроме тринадцатого мая, в шестом часу вечера, — сказал Бережной ровно, как читают рапорт. — Через два часа об этом знали на Малой Никитской. Через неделю Лаврентий Павлович вызвал к себе моего начальника и спросил, где мальчик. Мой начальник сказал, что не знает. Это правда. Он не знает, он знает только, что ты у Хозяина. Лаврентий Павлович улыбнулся и сказал, что тоже не знает и что это очень жаль.

Он снял очки и стал протирать их платком.

— Ты понимаешь, что это значит?

Андрей понимал. Это значило, что во всей Москве нет ни одного места, где его не могут найти. Кроме этого флигеля. И то пока.

— Есть ещё одно, — сказал Бережной. Он надел очки и посмотрел на Андрея прямо. — Подполковник без двух пальцев. При хозяйстве. «Казбек».

Андрей замер.

— Вы же говорили, что о нём нельзя...

— Нельзя. — Бережной кивнул. — Поэтому я искал тихо. Полгода. Не своими людьми. Так, через знакомых, через архивы, через одного кадровика, который мне был должен ещё с тридцать девятого. По бумагам этот подполковник умер. В конце ноября сорок четвёртого. Сердечный приступ. Похоронен на Ваганьковском, участок такой-то, номер такой-то. Всё чисто, всё с печатями.

Он помолчал.

— Я ходил на Ваганьковское. В апреле, когда снег сошёл. Нашёл участок. Нашёл номер. — Он развёл руками. — Там лежит женщина. Восемьдесят третьего года рождения, учительница музыки. Умерла в тридцать шестом.

В комнате стало тихо. Синица на подоконнике перестала прыгать и смотрела в стекло.

— Значит, он живой, — сказал Андрей.

— Значит, кому-то нужно, чтобы его не было, — поправил Бережной. — Это не одно и то же. Я не поверил бумагам. Я проверил. Но дальше проверять я не могу. Дальше начинается хозяйство, где течёт. А туда мне ходу нет.

Он встал, надел фуражку. Постоял у двери, что-то вспоминая.

— Двадцать четвёртого парад, — сказал он. — Хозяин велел, чтобы ты был. На гостевой трибуне, у стены. Пропуск привезут. Я буду рядом, сколько смогу. И ещё одно. Если тебя позовут в машину, которая не моя, не садись. Кто бы ни позвал.

— А если не спросят?

Бережной посмотрел на него долгим взглядом, и Андрей впервые увидел в его глазах то, что, наверное, видели подчинённые полковника перед тем, как идти туда, откуда не все возвращались. Не жалость. Уважение к человеку, которому предстоит то, чего не изменишь.

— Тогда думай, — сказал он. — Как тогда, над протоко-

лами. Это у тебя получается лучше, чем у всех нас.

И ушёл, пришаркивая левой ногой.

V

Дождь пошёл ещё ночью и к утру не перестал.

Он шёл мелкий, тёплый, настойчивый, из низкого серого неба, которое висело над Красной площадью так низко, что верхушки башен, казалось, упирались в него. Брусчатка блестела. Трибуны у Кремлёвской стены, наскоро сколоченные и покрашенные, потемнели от воды, и люди на них стояли под зонтами, под плащами, под газетами, а большинство просто так, без всего, потому что зонтов на всех не хватало.

Андрей стоял на гостевой трибуне слева от Мавзолея. Справа от него был Бережной, в плащ-палатке поверх кителя, с каплями на стёклах очков, которые он время от времени протирал пальцем, ничего этим не добиваясь. Слева сидел на складном стуле немолодой старшина с костылями, прислонёнными к перилам. У старшины не было правой ноги ниже колена, а на груди висели три медали «За отвагу» и звезда ордена Славы. Он ни на кого не смотрел. Он смотрел на площадь и молчал.

Андрей знал этот парад наизусть. Видел его каждый год, на экране, в кинохронике, которую показывали девятого мая между концертами. Дождь, белый конь, знамёна, барабаны. Мама всегда говорила в одном и том же месте: «Смотри, Сеня, какой дождь, а они идут». И он смотрел, и ему было скучно, потому что хроника была чёрно-белая и дёрганая, и люди

в ней казались не настоящими, а нарисованными.

Теперь дождь затекал ему за воротник.

Ровно в десять ударили куранты. Андрей вздрогнул, хотя ждал. Из ворот Спасской башни, из тёмного проёма, на площадь выехал всадник на белом коне. Конь шёл красиво, высоко поднимая ноги, и на мокрой брусчатке его копыта звучали чётко, будто кто-то бил деревянной ложкой по столу. Навстречу ему с другого конца площади выехал второй всадник, на вороном. Они сошлись в середине. Андрей не слышал, что они сказали друг другу. Дождь съедал слова.

Потом было долго. Сводные полки фронтов шли один за другим, бесконечно, рота за ротой, и площадь гудела под сапогами. Андрей смотрел на лица. Хроника никогда не показывала лиц так близко. Это были молодые лица, совсем мальчишеские, и старые, обветренные, с глубокими складками. Лица людей, которые четыре года делали одно и то же и вдруг перестали, и ещё не знали, что делать дальше. По ним стекал дождь, и непонятно было, плачет кто-нибудь из них или нет.

Старшина рядом с ним сидел не шевелясь. Только когда мимо проходил сводный полк одного из Белорусских фронтов, он вдруг подался вперёд и вцепился руками в перила, и Андрей увидел, как у него дрожат губы. Потом полк прошёл, и старшина снова откинулся на спинку стула.

Потом смолкла музыка.

Она смолкла так резко, что на секунду показалось, будто

на площади кончился воздух. И в этой тишине ударили барабаны. Сухая, частая дробь, без мелодии, без ритма марша. Андрей знал, что сейчас будет. Знал, как знают последний кадр фильма, который смотрели десять раз. И всё равно не был готов.

По площади шла колонна солдат, и каждый нёс опущенное знамя. Немецкие знамёна. Чёрные, красные, с орлами и крестами, мокрые, тяжёлые, с обвисшими полотнищами. Их не несли, их волокли, и бахрома с кистями тащилась по брусчатке, по лужам. Солдаты поворачивали к Мавзолею, делали несколько шагов и бросали знамёна вниз, к подножию, на мокрый камень. Одно за другим. Древки стучали о брусчатку. Полотнища падали в лужи и тут же темнели от воды.

Андрей стоял и смотрел на эти знамёна, и у него было странное чувство, что он смотрит не на площадь, а внутрь себя. Он думал о Таврине, который в избе под Кармановом сказал «я не один». О человеке без двух пальцев, который лежит под чужой фамилией в чужой могиле или не лежит нигде. О тех, кто завтра в Берлине, в Лондоне, в Вашингтоне увидит снимки этого парада в газетах и подумает о следующей войне. Знамёна падали, и с каждым ударом древка о камень одна война кончалась. А другая, о которой ещё никто на этой площади не знал, уже начиналась.

Он поднял глаза на Мавзолей.

На трибуне стояли люди в мокрых плащах и фуражках. Сталин стоял не в середине, а слева, уступив центр марша-

лам. Рядом с ним стояли другие, чьи лица Андрей знал по фотографиям, но отсюда, сквозь дождь, не мог разобрать. И одно лицо он всё-таки разобрал. Не потому что увидел, а потому что почувствовал. Небольшой поворот головы. Блеск стёкол без оправы. Человек на трибуне Мавзолея смотрел не на площадь, не на знамёна, а куда-то вбок, на гостевые трибуны у стены. На него.

Это длилось секунду. Потом голова повернулась обратно.

Бережной рядом с ним стоял неподвижно и, кажется, ничего не заметил. А может быть, заметил и ничего не сказал. Он только протёр пальцем очки ещё раз и тихо, не поворачивая головы, произнёс:

— Держись меня, когда будем выходить.

Старшина с костылями вдруг заговорил. Негромко, ни к кому не обращаясь, глядя на мокрую кучу знамён под Мавзолеем.

— Сколько ж их, — сказал он. — Сколько ж их было. А мы вот здесь.

Он помолчал и добавил совсем тихо, так, что Андрей едва расслышал за шумом дождя:

— А ребята нет.

## VI

Их разделили у самого выхода с трибуны.

К Бережному подошёл молодой капитан в мокрой фуражке, козырнул и сказал, что полковника срочно просят к телефону, в комендатуру, по линии его начальника. Бережной

посмотрел на капитана, потом на Андрея. Андрей видел, как у него напряглась челюсть.

— Жди здесь, — сказал полковник. — Никуда не уходи. Десять минут.

Он ушёл за капитаном, раздвигая плечом толпу. Андрей остался один.

Он простоял у стены десять минут, потом пятнадцать. Люди расходились с трибун, раскрывали зонты, смеялись, обнимались, кто-то пел. Дождь стал тише, потом совсем перестал, и над площадью в разрывах облаков показалось бледное, промытое небо. Бережной не возвращался.

Андрей пошёл вдоль стены, сам не зная куда. Ноги вели его. Он обогнул угловую башню и вошёл в Александровский сад.

Сад был мокрый и почти пустой. С лип капало. Дорожки блестели, в лужах отражалось небо. Он прошёл мимо гота и остановился у той самой скамейки. Она стояла на своём месте, под теми же липами, тёмная от дождя. Напротив, там, где через двадцать два года загорится огонь в бронзовой звезде, лежал газон, свежий, ярко-зелёный после дождя.

Он не сел. Он стоял и смотрел на скамейку, как смотрят на дверь, за которой когда-то жили. Он знал, что, если сядет и закроет глаза, ничего не случится. Дверь открывалась не для того, кто хочет уйти. Он это понял ещё в октябре.

— Андрей Сергеевич?

Он обернулся. На дорожке стоял человек в сером плаще и

кепке. Немолодой, с обыкновенным лицом, с обыкновенным голосом. Такие лица Андрей уже научился узнавать.

— Вас просят, — сказал человек. — Вон машина.

У ограды сада, со стороны Манежа, стояла длинная тёмная машина с занавесками на задних окнах. Мотор работал. Из выхлопной трубы шёл белый пар, такой же, как пар над мокрой брусчаткой.

— Я жду полковника, — сказал Андрей.

— Полковник занят, — ответил человек вежливо. — Надолго.

Андрей стоял и смотрел на машину. Он вспомнил слова Бережного: если позовут в машину, которая не моя, не садись. И вспомнил вторые: тогда думай. Он подумал. Если он не сядет, его посадят. Тот же человек, или двое других, которые наверняка стоят где-то за липами. Сад был пустой, и никто не увидит, как это произойдёт. И тогда в машину сядет не человек, а задержанный. А задержанный разговаривает иначе. С задержанным разговаривают иначе.

Он пошёл к машине сам.

Внутри пахло мокрой шерстью, кожей сидений и одеколоном, резким, сладковатым. Берия сидел в глубине, в штатском плаще поверх костюма, без шляпы. Пенсне он снял и протирал платком. Без пенсне его глаза казались меньше и беззащитнее, но Андрей знал, что это обман.

— Садись, садись, — сказал Берия. — Мокрый весь. Как цыплёнок.

Дверь закрылась. Машина не тронулась.

Берия надел пенсне и посмотрел на него. Долго, с удовольствием, как смотрят на вещь, которую давно искали и нашли не там, где думали.

— Восемь месяцев, — сказал он. — Хорошо тебя Хозяин спрятал. Я уважаю. Я сам так прятать не умею. — Он улыбнулся. — Ну, здравствуй. Андрей. Или как тебя мама зовёт? Арсений?

Андрей молчал.

— Не бойся, — сказал Берия. — Я тебя трогать не буду. Хозяин сказал, что ты его. Я понимаю. Я только поговорить.

Он сложил руки на животе, как тогда, на Малой Никитской.

— Ты сказал Хозяину что-то про англичан. Он неделю ходит весёлый. Мне не говорит. Ладно, не надо. Это его дело. Меня интересует другое. Мои люди в Америке говорят: этим летом. В пустыне. Что-то большое. Говорят разное, путаются. А ты не путаешься. Ты знаешь число.

Андрей смотрел в окно, на мокрые липы за занавеской.

— Хозяин сказал, ты сам решишь, когда говорить, — продолжал Берия мягко. — Я слышал. Хорошо. Решай. Только помни, что я тебя спрашивал первым. Ещё в октябре.

— Помню, Лаврентий Павлович.

— Вот и хорошо. — Берия кивнул. — Теперь второе. Хозяин хочет послать тебя в Германию. Немецкие бумаги смотреть. Искать, кто у нас течёт. Я знаю, не удивляйся. Я тоже

хочу, чтобы ты поехал. В Германии есть вещи, которые мне очень нужны. Ты их узнаешь, если увидишь. Мои люди не узнают, а ты узнаешь. Увидишь, скажешь мне. Не Абакумову. Мне.

Он полез во внутренний карман плаща, достал небольшую фотографию и протянул Андрею.

Андрей взял её, и сердце у него остановилось.

На фотографии были ступени нового театра в Новосибирске. Вечер, толпа, люди в гимнастёрках и довоенных платьях. А посередине, крупно, чётко, будто снимавший знал, куда навести объектив, стояла девушка в синем платье в мелкий горошек. Она поднималась на цыпочки и целовала в щёку парня в шинели. Лицо парня было повернуто к ней, и его не было видно. Её лицо было видно хорошо.

— Красивая девушка, — сказал Берия. — Ершова. Анна Ивановна. Двадцать седьмого года. Работает на сто семьдесят девятом, стоит у станка. Отец пропал без вести подо Ржевом.

Он сделал паузу и посмотрел на Андрея поверх пенсне.

— Ершова, — повторил он. — Странное совпадение, правда? Твоя настоящая фамилия тоже Ершов. Я её в протоколе читал, ещё в сентябре. — Он покачал головой. — Я не люблю странных совпадений, Андрей. Я люблю, когда понятно.

Андрей держал фотографию двумя пальцами и не мог разжать их. Он хотел сказать что-то. Что угодно. Что это ни-

чего не значит. Что фамилия частая. Что он её почти не знает. Он не сказал ничего, потому что понимал: любое слово сейчас будет признанием.

— Возьми себе, — сказал Берия добродушно. — На память. У меня есть ещё.

Он постучал пальцем в стекло. Дверь открыл тот же человек в сером плаще.

— Иди, — сказал Берия. — Полковник тебя ищет. Хороший работник полковник. Беспокойся.

Андрей вылез из машины. Ноги были ватные. Дверь закрылась, и машина бесшумно отъехала от ограды и пропала за углом Манежа.

По мокрой дорожке сада к нему бежал Бережной, тяжело, неловко, пришаркивая левой ногой, и плащ-палатка хлопала у него за спиной, как крыло.

Андрей стоял и смотрел на фотографию. Потом перевернул её. На обороте мелким аккуратным почерком было написано карандашом: «Новосибирск. 12.05.45. Ступени театра».

В тот вечер в фойе он видел одного человека в шляпе. Теперь он знал, что людей там было больше.

# Глава третья. Карлсхорст



## I

Бережной ничего не спросил. Он подбежал, остановился в двух шагах, тяжело дыша, и посмотрел сначала на Андрея, потом на угол Манежа, за которым скрылась машина, потом на фотографию у Андрея в руке. Этого ему хватило.

— Пошли, — сказал он.

Его машина стояла на Моховой. Старая «эмка» с помятым крылом, шофёр, пожилой сержант, дремал за рулём, надвинув пилотку на глаза. Бережной разбудил его, велел погулять полчаса и сел на заднее сиденье рядом с Андреем. Стёкла запотели. Снаружи по ним стекали редкие капли с лип.

— Рассказывай, — сказал полковник. — С начала. Ничего не пропускай.

И Андрей рассказал. Про человека в сером плаще. Про то, как решил сесть сам, чтобы не посадили. Про запах одеколона и мокрой шерсти. Про «Арсения». Про пустыню, о которой Берию докладывают его люди в Америке. Про Германию и про вещи, которые он узнает, если увидит. «Скажешь мне. Не Абакумову. Мне». Про фотографию.

Он рассказывал и чувствовал, что с каждым словом ему становится легче, будто он снимает с плеч мешок, который тащил от самого Манежа. И одновременно понимал, что этот мешок никуда не девается. Он просто ложится на другие плечи.

Бережной слушал, не перебивая. Когда Андрей дошёл до фотографии, полковник протянул руку, и Андрей отдал её. Бережной разглядывал девушку в синем платье, на парня в шинели, лица которого не было видно. Потом перевернул и прочитал надпись на обороте. Потом вернул.

— Кто она тебе? — спросил он. Тихо, без нажима.

Андрей молчал. Он ещё в октябре решил, что этого не скажет никому. Ни Бережному, ни Сталину, никому здесь.

Что это его, и только его.

— Прабабушка, — сказал он.

И сам не понял, почему сказал.

Бережной снял очки. Посидел так, глядя в запотевшее стекло, в котором ничего не было видно. Потом надел их обратно.

— Понятно, — сказал он. — Тогда понятно.

Он помолчал ещё, и Андрей видел, как он думает. Полковник думал так же, как допрашивал: медленно, по пунктам, загибая пальцы на руке, лежащей на колене.

— Значит, так, — сказал он наконец. — Есть мой начальник. Ему я обязан доложить. Он выслушает, скажет «молодец» и пойдёт с этим наверх сам. А по дороге решит, как это использовать против Лаврентия Павловича. Они друг друга любят, как два кота в одном мешке. Твоя девушка окажется в этой игре пешкой. Это первое.

Он загнул второй палец.

— Есть Лаврентий Павлович. Ему ты должен ответить. Не ответишь, он будет считать, что ты выбрал другого хозяина. А он не любит, когда выбирают других хозяев.

Третий палец.

— И есть Хозяин. Который сказал, что ты его. Который один может сказать Лаврентию Павловичу: не трогай. И Лаврентий Павлович не тронет. Не потому, что испугается, а потому, что поймёт, что за этим стоит.

Бережной опустил руку.

— Значит, к Хозяину. Не через моего начальника. Мимо. Андрей посмотрел на него.

— Вам за это что будет?

Бережной ответил не сразу. Он смотрел в окно, где по Моховой медленно шли люди с зонтами, и, кажется, видел что-то другое, давнее.

— В тридцать восьмом году, — сказал он, — у меня был начальник отдела. Хороший человек. Он однажды пошёл через голову. Не к Хозяину, пониже. С правильной бумагой. По делу, которое было правильное, я до сих пор так думаю. — Он помолчал. — Его не стало через месяц.

Он надел фуражку.

— Но я тогда был майором. И у меня тогда не было тебя.

Он открыл дверцу и крикнул шофёру, чтобы тот возвращался. Потом сказал, не оборачиваясь:

— Есть один человек, который носит Хозяину бумаги. Лысый, неприметный, ты его видел. Он меня знает. Он не любит, когда к нему ходят. Но он не любит и Лаврентия Павловича. Я пойду к нему сегодня.

Во флигель Андрей вернулся затемно. Синица на подоконнике уже спала, нахохлившись. Он сел за стол, положил перед собой фотографию и смотрел на неё при свете лампы. Девушка в синем платье тянулась на цыпочках к лицу парня, которого не было видно. Он думал о том, что сегодня впервые доверил свою тайну другому человеку. И что этот человек, не задумываясь, положил за неё на стол всё, что у него

было.

Теперь их было двое. И от этого почему-то стало не легче, а страшнее.

## II

Его позвали через две ночи.

На этот раз не в большую комнату с длинным столом, а в маленький кабинет на втором этаже, где Андрей никогда не был. Узкий, с книжными полками до потолка, с картой на стене и диваном, накрытым серым солдатским одеялом. На столе горела лампа с зелёным абажуром. Рядом с лампой стоял стакан чая в подстаканнике, давно остывший.

Сталин сидел за столом и читал. Перед ним лежала стопка бумаг, и он переворачивал листы медленно, ставя синим карандашом короткие пометки на полях. Он не поднял головы, когда Андрей вошёл. Андрей остался стоять у двери. Прошла минута, другая. Скрипело перо в соседней комнате, где сидел человек, который носил Хозяину бумаги.

— Фотографию принёс? — спросил Сталин, не отрываясь от чтения.

— Принёс.

— Дай.

Андрей подошёл и положил фотографию на край стола. Сталин дочитал страницу, поставил на полях галочку и только после этого взял снимок. Он рассматривал его долго, поднеся к лампе, как рассматривают документ, в подлинности которого сомневаются.

— Хорошая девушка, — сказал он наконец. — На мать похожа?

— На отца.

Сталин кивнул, словно это было важно.

— Полковник твой пошёл мимо начальника, — сказал он, всё ещё глядя на снимок. — Через голову. Знаешь, что за это бывает?

У Андрея похолодели руки.

— Знаю, Иосиф Виссарионович.

— Смелый полковник, — сказал Сталин задумчиво. — Смелых я помню.

Андрей не понял, хорошо это или плохо. Он подумал, что, наверное, и то и другое, и что в этом доме одно слово часто значило обе вещи сразу, а какая из них сбудется, решал тот, кто его произнёс, и решал не сразу.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.